ГЛАВА ШЕСТАЯ

*ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ
Состояние образованности в России во второе семилетие царствования
Елисаветы
1749-1755 годы*

В 1753 году в Москве появилось предписание тамошнего архиерея Платона Малиновского, которое может дать нам понятие об образованности учителей народной нравственности, об образованности духовенства. "Нам известно учинилось, - говорит Платон, - что епархии наша при церквах священо - и церковнослужители, как в давних, так и недавних летах произведенные, надлежащего им по их должности учения (которое им пред посвящением по букварю и особливо изданной тетрадке от экзаменаторов преподается) ничего не знают, ибо по священии своем совсем оно забывают, умышленно никакого радения о содержании того в памяти не прилагая. Понеже по правилам св. отец священникам вышеписаное учение не точию самим должно знать, но и паствы своя людей еженедельно оному обучать; но каким образом им обучать тому, чему они сами ничего не умеют? Что чинят они совсем бессовестно, не страшась суда Божия". Архиерей требует, чтоб священники по воскресеньям и праздникам непременно преподавали прихожанам по букварю и по особо изданной тетрадке сущность христианского учения, грозя в противном случае отрешением от мест.

Этим требованием должно было ограничиться относительно большинства духовенства, состоявшего из лиц, не знавших школы; от меньшинства ученых священников требовалось, чтоб они говорили проповеди, предики, назначавшиеся, как видно, и для особого рода слушателей, потому что в рапортах нужно было означать, говорена ли была проповедь в установленные дни и кто из знатных прихожан был при слушании проповеди. Требования эти от неученого большинства и ученого меньшинства духовных лиц были выставлены еще при Петре Великом, и после него повторяет их каждый достойный архиерей, каким был Платон Малиновский, жалуясь на их неисполнение. Главною помехою в их исполнении была печальная обстановка духовных лиц, борьба с нуждою, поглощавшая все внимание и заставлявшая забывать его то, чему выучился в школе или у экзаменатора. При Елисавете духовенство было освобождено от полицейских повинностей, от хождения на караулы к рогаткам, на дежурство в съезжие дома, на пожары; но на нем лежали еще разные пошрины и дани, не говоря об издержках при поставлении. При таких тягостях доходы были недостаточны для человека, обязанного рано обзаводиться семейством. Петр Великий принял самые действительные меры для поднятия материального благосостояния белого духовенства, постановив, чтоб количество духовенства не превышало средств прихода

для его содержания, и постановив, чтоб духовенство не было обязано покупать себе дома, которые должны покупаться на церковные деньги. Но подобно многим другим постановлениям Петра, и эти постановления потеряли силу после его смерти. Указы, однако, оставались, и потому всякий благонамеренный архиерей мог восстановить их силу. Так и поступал в описываемое время уже упомянутый прежде московский архиепископ Платон Малиновский: он строго наблюдал за исполнением петровского указа о домах и не позволял определяться на духовные места сверх штата. Но так как в других епархиях этого не наблюдалось, а прежде не наблюдалось и в московской, то оставалось всегда известное количество священников, которые преимущественно стекались в Москву; здесь они становились на Спасском крестце (между Спасскими воротами и Покровским собором) и нанимались отправлять церковную службу. В XIX веке еще рассказывали старики, как попы стояли на крестце с калачом в руках, и когда нанимавший их служить обедню давал мало, то они кричали: "Не торгуйся, сейчас закушу" (т. е. калач, после чего священник уже не мог служить обедню). Архиереи вооружались против этого явления, посылали хватать этих "крестцовых попов", бить их плетью, но ничто не помогало.

Плети не помогали устранению безобразных явлений, укореняя грубость в нравах. Это, как видно, понимал Платон Малиновский. В 1753 году он издал предписание: "Некоторые монастырские настоятели в нашей епархии наказывают монахов и монахинь очень жестоко, не по-монашески, сверх данной им власти: услышав о проступке, не удостоверясь подлинно, не только без совета, но и без ведома прочей братии, не смиряя духом кротости, не как братию, но как злодеев бьют, обнажа пред мирскими людьми, в противность обета своего и закона Божия. Чтоб отныне начальствующие не смели наказывать телесно порученных им монахов и монахинь ни за что без общего рассмотрения и согласия всей братии или по крайней мере главных из нее".

Число ученых священников было еще незначительно, да и не все из них окончили полный курс, некоторые, получив уже место, продолжали посещать училище; а между тем недостаток в людях и школах заставлял отнимать у духовенства лучших воспитанников для светской науки. Мы видели, как духовное начальство сильно отстаивало воспитанников своих училищ от требований Медицинской канцелярии. Но в 1748 году явился в Новгороде и Москве знаменитый профессор элоквенции Третьяковский от Академии наук для набора студентов в академический университет и выбрал лучших. В Петербурге в Академии экзаменовали их Ломоносов, Браун и Фишер и нашли, что 17 воспитанников в гуманиорах и школьной философии довольно успешны, так что на академические лекции о чистоте штиля, здравейшей философии и математики допущены быть могут, а двоих из них надобно послать на несколько времени в академическую гимназию латинскому языку учиться. Деятельность Академии наук преимущественно высказывалась в деятельности двоих ее

членов - Ломоносова и Мюллера; темная сторона тогдашней ученой жизни выражалась в борьбе этих знаменитостей друг с другом и в борьбе их с людьми, которые, получив не по праву сильное влияние на судьбу науки в России, не могли выносить законных представителей науки, потому что последние не могли спокойно подчиняться им. Затруднительное положение Академии проистекало главным образом оттого, что в стране, какою была тогдашняя Россия, где наука не могла еще пустить сколько-нибудь глубоких корней, нельзя было наполнить ученого учреждения все достойными членами, большинство подавало повод к разного рода упрекам относительно исполнения обязанностей, и этим пользовались люди, желавшие управлять Академиею; они выставляли на вид, что ученые не способны, не достойны сами управляться, что ими нужно управлять другим, и достигали своей цели, причем, разумеется, за грехи недостойного большинства платилось достойное меньшинство.

Профессор химии, напечатавший в 1748 году риторику, первую на русском языке, где все примеры сочинены или переведены им самим, в 1749 году трудился в лаборатории, делал химические опыты, до крашения стекол надлежащие, приготавливал простые материалы, разные соли, водки, а потом старался искать и нашел способ, как делать берлинскую лазурь и бакан венецийский; он же делал физические опыты и сочинял похвальную речь императрице на русском языке и переводил ее на латинский, участвовал в составлении российского лексикона. Похвальное слово императрице Ломоносов произносил в торжество восшествия на престол Елисаветы (Академия имела собрание на другой день праздника, 26 ноября). Произнесение речей на этом торжестве всего лучше было поручать двоим самым видным членам Академии - Ломоносову и Мюллеру, ибо кроме внутреннего достоинства, какое они могли дать своим речам, оба ученые были богатыри физически, обладали громким голосом и не смущались перед публикою. Шумахер видел необходимость назначать ораторами Ломоносова и Мюллера, но вот как по этому случаю завистливый пигмей выразил свою ненависть к великанам. Шумахер писал Теплову: "Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание, но не знаю такого между нашими академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален: разве у нас есть кто-нибудь другой в Академии, который бы превзошел его в этих качествах?" О Мюллере Шумахер выражается так же: "Он обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень близко к нахальству".

Для нас в знаменитом панегирике, который так долго выставлялся образцом ораторской речи, особенно замечательно указание Ломоносова на то, чего недостает русской науке, чем должно было заняться образующееся поколение: "Представьте себе (русские юноши) будущее ваше состояние, к которому вы избраны, со благоговением внимайте, что августейшая императрица, довольствуя вас своею казною, матерски повелевает, обучайтесь прилежно, я видеть российскую Академию из

сынов российских состоящую желаю; поспешайте достигнуть совершенства в науках: сего польза и слава отечества, сего намерения моих родителей, сего мое произволение требует. *Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петрова великая слава.* Простирайтесь в обогащении разума и в украшении русского слова. В пространной моей державе неоцененные сокровища, которые натура обильно произносит, лежат потаенны и только искусных рук ожидают: прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию".

Когда речь стала известна в Москве и за границу, Шумахера начали терзать известиями о ее успехе: Теплов писал ему, что речь понравилась при дворе, Эйлер писал ему из Берлина, что это образцовое произведение в своем роде. То же значение образца красноречия имело и другое похвальное слово Ломоносова - Петру Великому, произнесенное в 1755 году. Произнеся образцовую речь, оратор опять уходил в лабораторию, где занимался составлением красок и стекол для мозаики. "По регламенту Академии наук, - писал он, - профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях; а сие больше всех касается до тех, которые соединены с практикою, каково есть химическое искусство. Того ради за благо я рассудил, во-первых, изыскивать такие вещи, которые художникам нужны, а выписывают их из других краев и для того покупают дорогою ценою". Что и другое требование регламента относительно теоретических рассуждений не было забыто, доказательством служат известные исследования Ломоносова, принадлежащие описываемому времени: "О причинах теплоты и холода", где автор выводил явления теплоты из вращательного движения частиц в телах; "Об упругости воздуха", "О химических растворах"; сюда же должно отнести "Слово о пользе химии" и "Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих". Последнее сочинение особенно замечательно. Узнавши об открытиях Франклина относительно электричества, Ломоносов сам повторил его опыты и составил целую теорию воздушных электрических явлений, которая во многих пунктах сходится с теориею Франклина и во многих превышает ее. Знаменитый ученый-современник Эйлер отозвался о сочинении Ломоносова, что оно "обнаруживает в авторе счастливое дарование к распространению истинного естествоведения, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы весьма редки". Отзывы такого авторитета, как Эйлер, заставляли даже Шумахера признаваться, что у Ломоносова "замечательный ум и отличное пред прочими дарование, чего не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия".

Но если такие отзывы были вынуждаемы у личных врагов и у людей, которые не имели причины радоваться появлению между русскими такой знаменитости, то легко понять, как должны были смотреть на Ломоносова русские люди, особенно те, которые вследствие большего и большего знакомства с господствовавшим в Западной Европе движением считали

науку могуществом и стремились прославить себя приобретением для России этого могущества. К числу таких немногих людей принадлежал новый фаворит Ив. Ив. Шувалов, которого всегда видали с книгою в руках. Шувалов очень рано сблизился с первым русским ученым и литератором. У молодого Шувалова была книжка, куда он записывал свои мысли, извлечения из разных писателей, свои собственные опыты в стихотворных сочинениях и переводах. Стихотворное искусство имело тогда неотразимую прелесть; ученый, как Третьяковский, мучил и позорил себя, пиша стихи, не сознавая отсутствия в себе всякого таланта; императрица Елисавета Петровна писала стихи; писал их и Шувалов. Стихи его выходили немного лучше стихов его высокой покровительницы; но ему хотелось сделать их лучше, хотелось выучиться писать стихи, и к кому же ему было обратиться, как не к человеку, который первый стал писать красивые, звучные русские стихи. Шувалов учился у Ломоносова механизму стиха, как видно из его записной книжки; в ней же написан рукою Шувалова конспект всей риторики Ломоносова.

Стихотворная деятельность самого Ломоносова продолжалась: в оде его на рождение великого князя Павла Петровича нас останавливает указание на внешнюю деятельность, какая может занять достойно будущего русского государя: только варварские страны Востока должны подчиняться цивилизирующему влиянию России; против Западной Европы у России может быть одна война - оборонительная. Но от гаданий о будущем поэт по-прежнему любит обращаться к прошедшему России, не внося вражды между ними, а указывая тесную историческую связь. Можно сказать, что Ломоносов был историк в своих одах и поэт или ритор в истории. Вот обращение поэта к новорожденному:

Расти,		расти,		крепися,
С	великим	прадедом		сравнися,
С	желаньем	нашим		восходи.
Велики	суть	дела		Петровы,
Но	многие	еще		готовы
Тебе		остались		напреди.
Когда	взираем	мы	к	востоку,
Когда	посмотрим	мы	на	юг,
О	коль	пространность	зрим	широку,
Где	может	загрянуть	твой	слух.
Там	вкруг	облег	дракон	ужасный
Места	святы,	места		прекрасны,
И	к	облакам	сто	глав
Весь	свет	чудовища		страшитя,
Един	лишь	смело		устремиться

Российский может Геркулес.
 Един сто острых жал притупит
 И множеством низвержет ран,
 Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран.
 Пространными Китай стенами
 Закрыт быть мнится перед нами.
 Он гордым оком к ним взирает:
 Но в них ему надежды нет.
 Внезапно ярость возгорится
 И огонь, и месть между стеной
 Сие все может совершиться
 Петрова племени рукой.
 В своих увидишь предках явны
 Дела велики и преславны,
 Что могут дух природе дать.
 Уже младого Михаила
 Была к тому довольна сила
 Упадшую Москву поднять
 И после страшной перемены
 В пределах удержать врагов,
 Собрать рассыпанные члены
 Такого множества градов.
 Сармат с свирепостью своею
 Трофеи отдал Алексею.
 Он суд и правду положил,
 Он войско правильное вскоре,
 Он новый флот готовил в море;
 Но все то бог Петру судил.
 Сего к Отечеству заслуги
 У всей подсолнечной в устах,
 Его и кроткия супруги
 Пример зрим в наших временах,
 Пример в его великой дочери:
 Широки та отверзли двери
 Наукам, счастьем, тишине;
 Склоняясь к общему покою,
 Щедротой больше, чем грозою,

В Российской царствует стране.
Но ты, о гордость вознесена!
Блюдишься с хитростью своей:
Она героями рождена,
Геройский дух известен в ней.

Уничтожение внутренних таможен и работы по Уложению отмечены Ломоносовым в надписи на иллюминацию 5 сентября 1754 года:

Россия, вознося главу на высоту,
Взирает на своих пределов красоту.
Чудится в радости обильному покою,
Что в оной утвержден, монархиня, тобою,
Считая многие довольства, говорит:
Коль сладкое меня блаженство веселит!
Противники к моим пределам не дерзают,
И алчны мытари внутрь торгу не смущают!
Стал тесен к злобе путь коварникам в судах.

О трудах Ломоносова, ученых и поэтических, о том, что Ломоносов - первый талант в России, ее честь, слава царствования, - об этом императрица знала через Шувалова. Сам Ломоносов говорит об этом в известном стихотворном письме своем к Шувалову "О пользе стекла":

"А ты, о Меценат, предстательством пред нею,
Какой наукам путь стараешься открыть,
Пред светом в том могу свидетель верный быть.
Тебе похвальны все, приятны и любезны,
Что тщатся постигать учения полезны.
Мои посильные и малые труды
Коль часто перед ней воспоминаешь ты!"

Но стоять на такой высоте, на какой стоял Ломоносов, очень тяжело в обществе, где наука и литература в младенчестве, где скудно воспитание таланта, где нет разделения занятий, где человек, выдавшийся своим талантом, должен делать один много разных дел. Сам Ломоносов в похвальном слове Елисавете упомянул, чего дочь Петра Великого должна требовать от русских членов созданной им Академии: "Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петра великая слава". Вот первые требования, которые заявляет Елисавета у Ломоносова, - написание русской истории и поэмы, содержанием которой должны быть деятельность величайшего героя русской земли. Но кто же исполнит эти

требования? Разумеется, первый литературный талант времени Ломоносов, и Шувалов требует, чтоб Ломоносов занялся русскою историею, и сама императрица изъявляет на то свою волю. Ломоносов стал добросовестно готовиться к новому труду, собирал по источникам древнейшие известия о славянах; Шувалов торопил. В мае 1753 года Ломоносов писал ему: "О первом томе российской истории по обещанию моему старание прилагаю, чтоб он к новому году письменной изготовился. Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публично речи и диссертации и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила к красноречию на своем языке и историю своего отечества и должен еще на срок поставить, от того я ничего больше требовать не имею и готов бы с охотою иметь терпение, когда бы только что путное родилось".

Проходил и 1754 год, а "История Российская" не появлялась. Шувалов напомнил о труде, о его важности, писал, что если другие занятия мешают, то их можно и оставить. Ломоносов отвечал в самом начале 1755 года: "Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтобы оное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать, однако оно само собою такого есть свойства, что требует времени. Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способностью древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую. Могу вас уверить в том заподлинно, что первый том в нынешнем году с Божию помощью совершить уповаю. Что ж до других моих в физике и в химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ни же возможности. Всяк человек требует себе от трудов успокоения; для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался затем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтоб их вместо бильярдку употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменю материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют, а сверх сего пользу и честь отечеству, конечно, принести могут едва меньше ли первой".

Шувалов помог Ломоносову в получении значительного населенного имения для заведения и поддержания фабрики разноцветных стекол, и когда меценат по этому поводу высказал опасение, не ослабит ли обеспеченное состояние многообъемлющей деятельности Ломоносова, то последний отвечал ему: "Высочайшая щедрота несравненные монархини наша, которую я вашим отеческим предстательством имею, может ли меня отвести от любления и от усердия к наукам, когда меня крайняя бедность, которую я для наук терпел добровольно, отворотить не умела. Я всепокорнейше прошу ваше превосходительство в том быть обнадежену,

что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожну, были обо мне беспечальны; а те, которые из недоброхотной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были, и знать бы научились, что они своим аршином чужих сил мерить не должны, и помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно: они кого хотят, того и полюбят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример, с одной стороны, Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток, а с другой стороны, Ньютона, богатого лорда Боила, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы; Вольфа, который лекциями и подарками нажил больше пятисот тысяч и, сверх того, баронство".

К Шувалову обращался Ломоносов и в своих академических горестях. Он был по-прежнему страстен и раздражителен, а раздражаться было чем, когда знаменитый ученый, достойно оцениваемый лучшими людьми высокостоящими, самую императрицею, должен был находиться в зависимости от какого-нибудь Шумахера или Теплова, когда в челе ученого учреждения стоял человек, не достойный этого положения ни по способностям, ни по образованию, и, кроме того, человек нерадивый, исполнявший свою должность чужими руками, и руками нечистыми. Естественно, что Ломоносов искал выхода из своего тяжкого, унижительного положения, искал независимого положения в Академии или, наконец, другого места, могшего дать ему большую независимость и спокойствие, необходимые для успешного занятия науками. "Хотя голова моя и много зачинает, - писал он к Шувалову, - да руки одни, и хотя во многих случаях можно бы употребить чужие, да приказать не имею власти. За безделицею принужден я много раз в канцелярию бегать и подъячим кланяться, что я, право, весьма стыжусь, а особливо имея таких, как вы, патронов".

Узнавши от Шувалова, что нет надежды приобрести в Академии независимое положение, Ломоносов писал патрону: "Ежели невозможно, чтобы я был произведен в Академии для пресечения коварных предприятий, то всеуниженно ваше превосходительство прошу, чтобы вашим отеческим предстательством переведен я был в другой корпус, а лучше всего в Иностранную коллегия, где не меньше могу принести пользы и чести отечеству, а особливо имея случай употреблять архивы к продолжению российской истории. Я прошу Всевышнего Господа Бога, дабы он воздвиг и ободрил ваше великодушное сердце в мою помощь и чрез вас сотворил со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся: Господь помог ми и утешил мя есть из двух единым, дабы или все сказали: камень его же не брегоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей; или бы в мое отбытие из Академии ясно оказалось, что она лишилась, потеряв такого человека, который чрез толь много лет украшал оную и всегда с гонителями наук боролся, несмотря на свои опасности".

В Иностранную коллегию Ломоносов перемещен не был, а в Академии в начале 1755 года он должен был выдержать сильную борьбу, потому что побранился с двумя могуществами - Тепловым и Шумахером. Брань произошла по поводу пересмотра академического устава вследствие известного нам распоряжения Сената о составлении Уложения. Ломоносов высказывался за более сильное участие ученого корпуса в управлении Академиею с ограничением власти президента. Шумахер, которого Ломоносов называет Коварниным и который очень хорошо понимал, чью, собственно, власть Ломоносову хочется ограничить, говорил, что Ломоносов хочет отнять власть и полномочие президентское; Ломоносов отвечал, что желает снять с президента бремя, которое выше сил одного человека, каков бы он ни был, но дела должны производиться по общему согласию, тем более что президент не полигистор; если владеющий государь имеет своих сенаторов и других чиновных людей, которых советы он принимает, несмотря на свое самодержавие, то может ли быть иначе в науках? Спор кончился бранью, после чего Теплов, Шумахер и Мюллер донесли президенту, что не могут присутствовать вместе с Ломоносовым в академических собраниях. Разумовский велел сделать Ломоносову выговор и запретить ему являться в собрания. "Я осужден, - писал Ломоносов Шувалову, - Теплов цел и торжествует. Виноватый оправлен, правый обвинен. Коварнин (Шумахер) надеется, что он и со мною так поступит, как с другими прежде. Президент наш добрый человек, только вверился в Коварнина. Президентским ордерам готов повиноваться, только не Теплова. Итак, в сих моих обстоятельствах ваше превосходительство всепокорнейше прошу, чтоб меня от такого поношения и несправедливого поругания избавить; дабы чрез ваше отеческое предстательство всемилостивейшая государыня принять в высочайшее свое собственное покровительство и от Теплова ига избавить не презрела и от таких нападков по моей ревности защитить матерски благоволила. Чрез вашего превосходительства ходатайство от дальнейших обстоятельств вскоре спасен быть ожидаю".

Ожидание сбылось: пришло приказание от Разумовского возвратить ему его ордер относительно Ломоносова и объявить последнему, чтоб по-прежнему присутствовать в академических собраниях. Свою ученую деятельность за описываемый период времени Ломоносов закончил изданием грамматики. Об ней остались в его заметках следующие слова: "Меня хотя другие мои главные дела воспящают от словесных наук, однако, видя, что никто не принимается, я хотя не совершу, однако начну, что будет другим после меня легче делать".

Полезные починки относительно русской истории и географии делал другой академик, Мюллер. Так как Мюллер пробыл около десяти лет в Сибири на двойном жалованье, то, по мнению академической канцелярии, нельзя было потерять это иждивение, и она заключила с Мюллером новый контракт, по которому он обязался: 1) быть при Академии наук профессором в университете и для сочинения генеральной российской

истории; к тому же определяется историографом, причем обещает высокий ее императорского величества интерес и Академии честь и пользу всячески наблюдать. 2) Начатые свои дела, на которые уже столько изживения употреблено, а именно "Сибирскую Историю", в которой бы иметь достоверное описание положения всей Сибири географического, веры, языков всех тамошних народов и древностей сибирских, и таким образом вместе с профессором Фишером производить, чтоб всякий год издать можно было по одной книжке путешествия его. 3) Когда окончится "Сибирская История", тогда он, Мюллер, употреблен будет к сочинению истории всей Российской империи в департаменте, который ему от Академии показан будет, по плану, который им самим сочинен в то время быть имеет и в канцелярии апробован. 4) Понеже он, Мюллер, от лекций уволен, то вместо того отправлять ему ректорскую должность при университете. Исторические труды Мюллера рассматривались в особом историческом собрании, состоявшем из нескольких академиков. В одном месте "Сибирской Истории" было сказано, что Ермак позволял своим козакам разбойничать. Ломоносов и другие члены исторического собрания заметили, что "о сем деле должно писать осторожнее и помянутому Ермаку в рассуждении завоевания Сибири разбойничества не приписывать". Мюллер отвечал, что это обстоятельство не подлежит никакому сомнению, изменить его нельзя и потому лучше совсем выпустить.

Если историк обязывался осторожностью относительно Ермака, то мы не удивимся запросу, полученному Мюллером от президента Академии, сам ли собою он сочинял найденные в его делах родословные или по чьему-нибудь приказу или прошению; а потом Теплов объявил ему именем Разумовского, чтоб он таких родословных впредь не сочинял, а трудился бы в одних настоящих своих должностях. Мюллер отвечал, что составлял родословные таблицы по должности историка, потому что история и генеалогия так между собою связаны, что одна без другой быть не может. Но отмены приказания не сочинять родословных не последовало, и Мюллер показывал, что больше не сочиняет. Мюллер написал предисловие к своей истории, или к "Описанию Сибирского царства"; Шумахер настаивал, что предисловие не нужно, ибо клонится больше к распространению суетной славы автора; Мюллер просил позволения поместить при своем труде две летописи в виде приложения; Шумахер замечал, что Мюллер и то без нужды наполнил свою книгу жалованными грамотами, из чего видно, что хотел только увеличить свою историю и время продлить. Академическая канцелярия объявила Мюллеру, что "хотя, по рассуждению вашему, и потребны доказательства к вашей "Сибирской Истории", однако находится при достопамятных вещах немалое число в оной же летописи лжебасней, чудес и церковных вещей, которые никакого иноверства не только не достойны, но и противны регламенту академическому, в котором именно запрещается академикам и профессорам мешаться никаким образом в дела, касающиеся до закона. А хотя же бы что и до закона не касалось, то не рассуждается за пристойно печатать пустые сказки и лжи, которые никакого основания не имеют; тем

больше с здравым рассуждением не сходно такую книгу напечатать вместо доказательства под именем будто бы только древности и старого сложения, ибо ложь не касается до склада, но до самого дела. И по определению главной канцелярии Академии наук велено показанную летопись для объявленных и основательных резонов печатанием оставить до того времени, когда она и другие ей подобные особливо осмотрены будут и *очищены от помянутых непристойных сказок*, происходящих от излишнего суеверства, чего ради и предисловие к "Сибирской Истории", которое вы прислали для апробации переменено".

Таким образом, первый том "Описания Сибирского царства и всех происшедших в нем дел" явился в 1750 году без мюллеровского предисловия, в котором, между прочим, говорилось, как полезно для читателей, когда они встречаются в книге много выписок из древних актов на древнем языке, напоминающих о таких словах и выражениях чисто русских, которые утратились и заменены словами иностранными. "Должно, - говорит Мюллер, - обыкновению времен несколько уступать, когда старинными словами и складами гнушаются; но сие обыкновение не надлежит всегда почитать за узаконение и не должно отвергать всего старинного только для того, что оно старинное, а новое принимать для того, что новое".

Это указание на необходимость поддержать новый русский язык в тяжелой борьбе его с наплывом новых понятий и слов, поддержать живым и сильным языком древних грамот, тем языком Посольского приказа, на который при Петре Великом заставляли писать и переводить книги, - это указание оставлено без внимания, и относительно следующих томов "Сибирской Истории" академическая канцелярия предписала: "Усмотрено, что в первом томе "Истории Сибирской" большая часть книги не что иное есть, как только копия с дел канцелярских, а инако бы книга надлежащей величины не имела, то чрез сие накрепко запрещается, чтоб никаких копий в следующие томы не вносить, а когда нужно упомянуть какую грамоту или выписку, то на стороне цитировать, что она действительно в академическом архиве хранится".

Это время, конец 1749 и 1750 год, было самое тяжелое в служебной жизни Мюллера. Мы видели, что Мюллеру и Ломоносову поручено было в 1749 году приготовить речи для торжественного собрания Академии 6 сентября. Мюллер написал свою речь на латинском языке "О происхождении народа и имени руссов", где развивал положения Байера о скандинавском происхождении варягов-руси. Речь была одобрена в академическом собрании; но комиссар Крекшин, выведивший из терпения Сенат своими вздорными доносами, доносивший и прежде на Мюллера, что тот делает выписки, унижительные для русских великих князей, и теперь начал распускать по городу слухи, что в речи Мюллера много оскорбительного для чести русского народа. Тогда Шумахер поручил шестерым членам Академии, в том числе Третьяковскому и Ломоносову, рассмотреть речь

Мюллера, "не сыщется ли в ней что-нибудь предосудительное для России". Третьяковский подал отзыв, что "сочинитель по своей системе с нарочитою вероятностью доказывает свое мнение. Нет, почитай, ни единого в свете народа, которого первоначалие не было б темно и баснословно, следовательно, я не вижу, чтоб во всем авторовом доказательстве было какое предосуждение России. Все предосуждение сделал сам себе сочинитель выбором столь спорных материй". Но Ломоносов в своем отзыве объявил, что диссертация Мюллера "поставлена на зыблующихся основаниях, опровержения мнений, что Москва происходит от Мосоха и россияне от реки Росса, никакой силы не имеют и притом переплетены непорядочным расположением и темной ночи подобны". Ломоносов упрекает Мюллера, зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами, ибо известно, что скифы не боялись царей македонских и самих римлян; нападает на Мюллера, зачем он очень поздно ставит приход славян в здешние места, зачем о Несторе-летописце говорит весьма продерзостно и хулительно так: "Ошибся Нестор". Мнения членов Академии, большинство которых было против диссертации, отосланы к президенту в Москву, откуда получено решение делу, написанное Тепловым: "Диссертацию профессора Мюллера, собрав черную и белую рукописную, отдать в архиву, а напечатанную и с корректурами хранить до указа под особливую канцелярскую печатью, не выпуская ни под каким видом ни единого экземпляра в свет, дабы со столь многими сумнительствами и важными погрешностями не мог себя подвергнуть автор дальнейму толкованию, а, исправя при времени, оную мог при подобной оказии употребить". В Петербурге академическая канцелярия объявила Мюллеру, что его диссертацию велено *уничтожить*. Мюллер, раздраженный этим *уничтожением*, имел неосторожность написать президенту жалобу на пристрастие своих судей, не сознавая справедливости замечания Третьяковского, что "все предосуждение сделал себе сочинитель выбором столь спорных материй". Президент предписал произвести рассмотрение диссертации в генеральном собрании Академии в присутствии Мюллера, который мог бы защищаться против обвинений. Начались экстраординарные заседания, на которых Мюллер защищал свою диссертацию; заседания продолжались с октября 1749 до марта 1750 года. Кроме устных споров поданы были опять и письменные отзывы. Третьяковский опять объявил, что "Мюллерова диссертация есть вероятна и вероятнее еще, кажется, всех других систем поныне о начале имени россиян ведомых". Ломоносов остался также при своем прежнем мнении, что "оной диссертации никоим образом в свет выпуститься не надлежит. Ибо, кроме того что вся она основана на вымысле и на ложно приведенном в свидетельство от г. Мюллера Несторовом тексте и что многие явные между собою борющиеся прекословные мнения и нескладные затеи Академии бесславию сделать могут, находятся в ней еще немало опасные рассуждения. Ибо 1) должно опасаться, чтобы не было соблазна православной российской церкви от того, что г. Мюллер полагает

поселение славян на Днепре и в Новгороде после времен апостольских; а церковь российская повсегодно воспоминает о приходе св. апостола Андрея Первозванного на Днепр и в Новгород к славянам, где и крест от него поставлен и ныне высочайшим ее величества указом строится на оном месте каменная церковь. 2) Из сего мнения не воспоследовала бы некоторая критика на премудрое учреждение Петра Великого о кавалерском ордене св. апостола Андрея. 3) Происхождение первых князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов-руси производит, происхождение имени российского весьма недревнее, да и то от чухонцев, в противность же ясного Несторова свидетельства; презрение российских писателей, как преподобного Нестора, и предпочитание им своих неосновательных догадок и готических басней; наконец, частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями не токмо в такой речи быть недостойны, которую г. Мюллеру для чести российской Академии и для побуждения российского народа на любовь к наукам сочинить было велено, но и всей России пред другими государствами предосудительны быть должны".

Канцелярия Академии наук, основываясь на том, что диссертация Мюллера ни одним из членов Академии не одобрена, а проф. Третьяковским за прямо основательную не признана, определила оную диссертацию совсем уничтожить.

Но этим беды не кончились. Под предлогом скорейшего окончания "Сибирской Истории" у Мюллера отняли должность ректора университета, находившегося при Академии наук, и в то же время заставляли читать лекции по всеобщей истории. Тщетно Мюллер представлял, что он уже 18 лет как не читал никаких лекций, а посвятил все свои труды русской истории и географии и не занимается всеобщей историей, - ему объявили приказание президента непременно читать лекции, иначе пойдет вычет из жалованья. Тогда выведенный из себя Мюллер подал жалобу президенту на Теплова как человека, который вредит ему во всем, дурно отзываясь о его "Сибирской Истории", помешал посвящению этой книги и проч. Легко было предвидеть следствия жалобы Разумовскому на Теплова. Президент прислал в Академию бумагу, в которой говорилось, что некоторые члены Академии препятствуют его стараниям на пользу этого учреждения; Делиля и Крузиуса он за это прогнал, но еще остался Мюллер, который девять лет пробыл в Сибири на большом жалованье и ничего оттуда не привез, кроме копий с летописей, грамот и других канцелярских дел, что можно было бы приобрести с гораздо меньшими издержками, не посылая его, Мюллера; студента Крашенинникова в Сибири бил батогами; клеветает на Теплова, на членов канцелярии, самого президента признает нечувствительным и неосмотрительным. За такие преступления Мюллера разжаловали из академиков в адъюнкты. Скоро, впрочем, опомнились, конечно не без предстательства людей сильных, и возвратили Мюллеру прежнюю должность, вынудивши, однако, у него признание, что был

достойно наказан. Нельзя было не опомниться, потому что другого такого способного труженика не было в Академии. Он был конференц-секретарем, вел обширную переписку с заграничными учеными и литераторами, составлял протоколы академических заседаний, наблюдал за изданием трудов Академии (*Novi commentarii*), и когда задумали издавать при Академии первый учено-литературный журнал, то некому было поручить и этого издания, кроме Мюллера, а издание такого журнала в то время по состоянию образованности вообще и по недостатку всяких средств было делом крайне трудным. В декабре 1753 года Мюллер прочитал в академическом собрании предисловие к первой книжке журнала, который должен был выходить под названием "Санкт-Петербургские академические примечания". Возражений не было; но через месяц Ломоносов заявил, что "сей титул и предисловие при дворе ее импер. величества очень раскритикованы и надлежит оба переменить. А особливо о титуле сказал он, что хотя назвать книгу Санкт-Петербургскими штанами, то сие таково ж прилично будет, как имя "Примечания", потому что и стихи вноситься будут, а стихи не примечания". Мюллер жаловался, что во время этого спора ему досталось от Ломоносова много "бесчестных порицаний", и предлагал поручить издание журнала самому Ломоносову. Издание осталось за Мюллером, но он должен был назвать журнал "Ежемесячными сочинениями".

В предисловии к журналу издатель говорил: "Предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно не одни только рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурах, в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах и в прочих, какое ни есть новое изобретение показывают или к поправлению чего-нибудь повод подать могут. И как мы равномерно желаем, чтоб и стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми быть могут и забавные, то мы надеемся, что сочинители оных ни до кого персонально касаться не будут. Коль великое множество имеем мы еще других материй! Когда читателям нашим предвосприимем сообщать экстракты из достовернейших российских летописей, списки с старинных грамот и с архивных дел, описания церемониям и торжествам, при дворе ее императорского величества происходящим, высочайшие узаконения и указы, до всенародного благополучия касающиеся, которые, потому что вечно в силе своей остаться имеют, паче других достойны сохранения, иногда при том еще объявлять будем о иностранных и здешней печати новых и полезных книгах, также и о знатнейших политических каждого месяца приключениях. При том великом изобилии не мним мы, чтоб когда мог быть недостаток в материях, а еще меньше того опасаемся, чтоб для их различности оные кому наскучили". По инструкции президента Академии Мюллеру в "Ежемесячных сочинениях" велено "убегать от всех богословских и метафизических материй, стараться вносить в оные ("Ежем. сочин.") только такие вещи, которые бы сверх приятности и действительную пользу в себе заключали".

На первый же год издатель дал в журнал значительные вклады; он поместил любопытную статью "О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оных". Эта статья уже не похожа на ту, которую мы видели в первом томе немецкого "Сборника": Мюллер выучился понимать древние сочинения, сам стал разбирать рукописи, познакомился с трудами Татищева и, руководствуемый последними, написал свое исследование, которым в свою очередь руководствовались позднейшие исследователи. Мюллер спешит сам указать на грубые ошибки, которые он сделал в первой статье о летописи по собственному незнанию русского языка и по невежеству своего переводчика; он отрицается от летописи игумена Феодосия и вслед за Татищевым объявляет в самом начале статьи: "Всем известно, что начало летописаний российских приписать должно Киево-Печерского монастыря монаху преподобному Нестору". О начальной летописи Мюллер делает отзыв, который перешел из XVIII и в XIX век: "Не беззачетное обстоятельство для показания важности Несторовой летописи есть то, что прочие славянские народы подобной ей не имеют, ниже чтоб которая из их летописей либо древностью, либо обстоятельным и внятным объявлением происшедших дел сей нашей предпочитаема быть могла. Последующие российские писатели повторяли в продолжениях своих описанное Нестором время по большей части собственными его словами. По крайней мере они в его описании не отважились учинить никакой знатной перемены. Так сильно удостоверены были они о верности объявленных Нестором приключений; да как бы им таковым и не быть, когда и ныне никаких знатных недостатков в его летописи не видно и когда точное согласие первого нашего российского летописателя с греческими тогдашних времен историками примечаем. Того ради для российской истории весьма полезное бы дело было и как от природных российских, так и от иностранных давно желаемое, ежели бы повелено было к побуждению тех, кои российскую историю основательно знать желают или еще розысканиями своими больше изъяснить намерены, Несторову летопись купно с продолжениями оной напечатавши, в народ издать... Но сколь нужна сама по себе есть Несторова летопись с продолжениями ее, чтоб в печать издана была, столько же не можно почесть за излишнее, если повелено будет и труды покойного господина тайного советника Татищева таким же образом напечатать". Кроме этого важного в истории нашей исторической литературы исследования Мюллер поместил в том же году статью "О торгах сибирских".

В тот самый год, когда Петербургская Академия наук, "ничего так не желая, как чтоб Российскому государству и народу трудами своими приносить действительную пользу и сколько возможно возбудить во всех удовольствие, какое производит знание наук", начала издавать первый учено-литературный журнал на русском языке; в тот самый год основан был университет в Москве. Мы уже замечали, как естественно и постепенно шло развитие, разделение занятий между нашими учено-учебными заведениями в XVIII веке. В проектированной Петром Великим

Академии наук заключалось три учреждения - и Академия наук, и университет, и гимназия. При Анне учрежден Кадетский корпус, но и он не может носить специально военный характер, характер его двойственный: военно-гражданский, и в приготвлении молодых людей к гражданской службе корпус заменяет собственно университет. Университет при Академии наук не ладился; чувствовалась потребность сделать шаг вперед в развитии учебных учреждений, выделить университет из Академии наук, учебное заведение - из ученого. Но для удовлетворения потребности известного времени нужны люди, которые по каким бы то ни было побуждениям способны приводить в исполнение требуемое дело. Конечно, Ломоносов, да и не один Ломоносов, мог внушать Ив. Ив. Шувалову, что университет при Академии вследствие беспорядочности ее управления не пойдет, и у мецената, естественно, родилась мысль основать самостоятельный университет, увековечить этим свое имя и, взявши новое учреждение в свое главное начальство, дать ему надлежащее устройство. Мысль эта могла быть прямо внушена Ломоносовым или поддержана им: по крайней мере Ломоносов говорит, что он "первый причину подал к основанию" университета. Как видно, во время пребывания двора в Москве в 1754 году было решено дело об основании университета в этой столице; Шувалов по возвращении в Петербург объявил об этом Ломоносову и вслед за тем прислал ему черновое доношение в Сенат об основании университета. Ломоносов послал ему свое мнение об устройстве будущего университета, наскоро набросанное, приписав следующее: "Не в указ вашему превосходительству, советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу непременно".

19 июля того же года Петр Ив. Шувалов предложил Сенату доношение действительного камергера и кавалера Ивана Ивановича Шувалова и при том учиненные им, г. камергером, проект и штат об учреждении в Москве университета для дворян и разночинцев и двух гимназий: одной - для дворян и другой - для разночинцев, кроме крепостных людей, по примеру европейских университетов, где всякого звания люди свободно наукою пользуются. Приказали доложить ее императорскому величеству и представить, что оный г. камергера труд Прав. Сенат признавает за весьма нужный и полезный государству; что же он, г. камергер, представляет на содержание того университета и гимназий ежегодно употреблять суммы до 10000 рублей, но, как оное дело весьма важное и потребное для пользы всего государства, того для Прав. Сенат рассуждает ежегодно на содержание оного университета и двух гимназий отпускать по 15000 рублей, дабы оный приумножением достойных профессоров и учителей толь наиболее в лучшее состояние приходил, ныне же на первый случай единожды на выписывание профессоров, на покупку книг и на другие необходимые нужды отпустить 5000 рублей. Присутствовали в Сенате кроме Шувалова князь Алексей Дмитр. Голицын и князь Иван Андр. Щербатов. 11 августа Петр Ив. Шувалов уже объявил Сенату именной указ об исправлении для учреждающагося в Москве университета дома у

Куретных ворот, где прежде была аптека, и о выводе находящихся теперь в этом доме Ревизион-коллегии, Главного комиссариата и Провиантской конторы. Это исправление дома подрядчик взял за 3300 рублей.

Если императрица приказала исправлять дом для университета, то ясно, что она была согласна на его учреждение еще в 1754 году; но указ об учреждении был подписан только 12 января 1755 года; в нем говорилось: "Когда бессмертные славы в бозе почивающий любезнейший наш родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды полагал, не токмо Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель; и хотя во время жизни столь высокославного монарха всеполезнейшие его предприятия к совершенству и не достигли, но мы со вступления нашего на всероссийский престол всечасное имеем попечение и труд как о исполнении всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего отечества служить может... Но как всякое добро происходит от просвещенного разума, а, напротив того, зло искореняется, то, следовательно, нужда необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание, чему подражая для общей отечеству славы и признавая за весьма полезное к общенародному благополучию, Сенат всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением с приложением проекта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий следующее представлял: как наука везде нужна и полезна и как способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, в чем свидетельство видим нашего века, от Бога дарованного к благополучию нашей империи родителя нашего императора Петра Великого доказывает, который Божественным своим предприятиям исполнение имел чрез науки, бессмертная его слава оставила в вечные времена разум превосходящие дела, в столь короткое время перемена нравов и обычаев и невежеств, долгим временем утвержденных, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей, все к пользе общего житья человеческого... Учрежденная родителем нашим Академия хотя и славою иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним оным ученым корпусом довольствоваться не можем в таком рассуждении, что за дальностью дворяне и разночинцы к приезду в С. - Петербург многие имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей кроме Академии в сухопутном и морском Кадетских корпусах в инженерство и артиллерию открытый путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дворянам или тем, которые в вышеописанные места для каких-либо причин не записаны, и для генерального обучения разночинцам упомянутый наш действительный

камергер и кавалер Шувалов о учреждении в Москве университета изъяснял для таковых обстоятельств, что установление одного университета в Москве тем способнее будет: 1) великое число в ней живущих дворян и разночинцев; 2) положение оной среди Российского государства, куда из округ лежащих мест способнее приехать можно; 3) содержание всякого не стоит многого иждивения; 4) почти всякий у себя имеет родственников или знакомых, где себя квартирою и пищею содержать может; 5) великое число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть не только учить науки не могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез то молодые лета учеников и лучшее время к учению пропадает, а за ученье оным бесполезно великая плата дается; все же почти помещики имеют старание о воспитании детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных людей в службу нашу, а иные, не имея знания в науках или по необходимости, не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали... Такие в учениях недостатки реченным установлением исправлены будут, и желаемая польза надежно чрез скорое время плоды свои произведет, паче ж когда довольно будет национальных достойных людей в науках, которых требует пространная наша империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей, и ко исполнению начатых предприятий, и ко учреждению впредь по знатным российским городам российскими профессорами училищ, от которых и в отдаленном простом народе суеверия, расколы и тому подобные от невежества ереси истребятся".

Проект и штат состояли в следующих статьях: 1) на содержание университета и гимназий довольно 10000 рублей. 2) Нужно к ободрению наук, чтоб сама императрица взяла университет под свою протекцию и поставила одну или двух знатнейших особ кураторами. 3) Чтоб университет, кроме Сената, не был подчинен никакому присутственному месту. 4) Чтоб все служащие без ведома и позволения кураторов и директора не становились ни перед каким другим судом, кроме университетского. 5) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, также и от вычетов из жалованья и всяких других сборов. 6) Надлежит быть особому директору, который бы по предписуемой ему инструкции о благосостоянии университета старался и его доходами правил, с профессорами науки в университете и учение в гимназии учреждал, со всеми присутственными местами по делам, касающимся до университета, переписку имел и о всем вышеписаном кураторам представлял и их апробации требовал. 7) Хотя во всяком университете кроме философских наук и юриспруденции должны также предлагаемы быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется Св. Синоду. 8) Профессоров в университете будет в трех факультетах 10; в юридическом: 1) профессор всей юриспруденции, который учить должен натуральные и народные права и узаконения

Римской древней и новой империи; 2) профессор юриспруденции российской, который сверх вышеписанных должен знать и обучать особливо внутренние государственные права; 3) профессор политики, который должен показывать взаимное поведение, союзы и поступки государств и государей между собою, как было в прошедшие века и как состоят в нынешние времена. В медицинском: 1) доктор и профессор химии должен обучать химии, физической особливо и аптекарской; 2) доктор и профессор натуральной истории должен на лекциях показывать разные роды минералов, трав и животных; 3) доктор и профессор анатомии обучать должен и показывать практикою строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать студентов к медицинской практике. В философском: 1) профессор философии обучать должен логике, метафизике и нравоучению; 2) профессор физики обучать должен физике экспериментальной и теоретической; 3) профессор красноречия для обучения оратории и стихотворства; 4) профессор истории для показания истории универсальной и российской, также древности и геральдики. Каждый профессор должен учить по крайней мере два часа в день, исключая воскресных, табельных дней и субботы; по субботам собрание для рассуждения о делах университетских. Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора, но каждый повинен последовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут. Лекции должны быть на латинском или на русском языке, смотря как по приличеству материй, так и по тому, иностранный ли будет профессор или природный русский. Вакаций две: зимою от 18 декабря по 6 января; летом от 10 июня по 1 июля.

В обеих гимназиях учредить по 4 школы, в каждой по 3 класса. Первая школа российская: в ней обучать в нижнем классе грамматике и чистоте стиля, в среднем - стихотворству, в вышнем - оратории. Вторая школа латинская: в ней обучать в нижнем классе первые основания латинского языка, вокабулы и разговоры, в среднем - толковать нетрудных латинских авторов и обучать переводам с латинского на русский и с русского на латинский язык, в верхнем - толковать высоких авторов и обучать сочинениям в прозе и в стихах. Третья школа первых оснований наук: в нижнем классе обучать арифметике, в среднем - геометрии и географии, в вышнем - сокращенной философии. Четвертая школа знаменитейших европейских языков: в двух нижних классах обучать первые основания и разговоры с вокабулами немецкого и французского языков, в двух верхних классах обучать чистоте стиля помянутых языков.

Кураторами университета были назначены Ив. Ив. Шувалов и действительный статский советник Лаврентий Блюментрост, известный лейб-медик Петра Великого, первый президент Академии наук, подвергшийся опале в царствование Анны и живший в Москве в должности начальника гошпиталя. Блюментрост, впрочем, недолго пользовался своим новым званием куратора, потому что умер в марте того

же 1755 года. Директором университета был назначен коллежский советник Алексей Аргамаков. Мы видели, что Аргамаков был назначен также членом в комиссию об Уложении и ему поручено составить проект устройства Оружейной палаты. Он поспешил в начале же 1755 года представить этот проект, который делает ему честь и может объяснить, почему его назначили директором университета. По мнению Аргамакова, освященные вещи, хранившиеся в палате, - короны, скипетры, державы - должны быть положены в лучшем порядке, также курьезные вещи древних работ и многим числом посуды серебряной и пребогатым конским и оружейным прибором могут составить славную галерею. Для этого надобно выстроить особое здание и разложить вещи с украшением в надлежащем порядке; сделать новую опись по расположению вещей в этой новой галерее с выставлением цены и с объяснением значения каждой вещи; с лучших вещей снять рисунки и каталог этот напечатать на русском и на других иностранных языках, "дабы столь богатые и курьезные вещи, которые приносят славу империи, не преданы были забвению". Один день в неделю назначить для публики, которая обозревает палату в присутствии члена. Сенат приказал архитектору составить план и смету нового здания палаты. Но план Аргамакова очень нескоро осуществился во всех частях.

Важно было учреждение медицинского факультета при всей его неполноте. Гошпитальные школы не могли доставлять достаточного количества лекарей и прибегали к средствам частного домашнего научения; так, сенатский лекарь Вейнраух должен был обучать лекарскому искусству учеников: их было у него двое, они получали от казны денежное жалованье и провиант. Но если, с одной стороны, чувствовался сильный недостаток в лекарях, то был любопытный случай, когда лекарей отвергли как ненужных. В Казанской губернии были учреждены четыре школы для новокрещенских детей и к этим школам определены два лекаря. Вдруг получается приказание от казанского епископа Луки запечатать в этих школах все медикаменты; лекаря отправляются к преосвященному удостовериться, по его ли приказанию запечатаны медикаменты; епископ отвечает им: "Я сам приказал запечатать, да и впредь вам лечить школьников запрещаю, потому что эти школьники к лечению несродны". Сенат, узнавши об этом из донесения Медицинской канцелярии, приказал дать знать в Синод, чтоб послал епископу указ о допущении лекарей, ибо они определены по указу и если не станут лечить, то жалованье будут получать понапрасну. Если же им там почему-нибудь быть нельзя, то надлежало бы его преосвященству об этом представить, отстранить же собственною властью и препятствовать им в исполнении их должности не следовало.

Относительно средств специального образования нашли нужным сделать преобразование в морских школах. Со времен Петра Великого в Адмиралтейском ведомстве находились две морские академии - Петербургская и Московская (на Сухаревой башне). В 1750 году Адмиралтейская коллегия донесла Сенату, что в 1731 году по доношении

адмирала Сиверса Сенат приказал в Навигацкой школе содержать учеников: в Москве 100, Петербурге 150, итого 250 человек; но по каким побуждениям адмирал Сивере без согласия с коллегиею подал доношение, этого коллегия показать не может. Хотя комплект был положен с большим сокращением числа учеников, однако и положенного числа никогда налицо не имелось за неприсылкою учеников из недорослей и дворянских детей, тогда как содержание флота в должном состоянии с хорошими офицерами зависит единственно от хорошего состояния Академии, ибо ученики берутся в гардемарины, из гардемаринов возводятся в мичманы и по порядку в другие чины, а из того малого числа учеников флотов и артиллерийского корпуса комплектовать некем. При жизни Петра Великого определялись для обучения навигацким наукам в Академии из знатного дворянства и была большая часть таких, которые имели за собою значительные деревни; а теперь присылаются из шляхетства малопоместные и беспоместные, жалованье в Академии получают малое: которые в арифметике, те по рублю в месяц и из такого малого оклада должны иметь пропитание, одежду, квартиру, тогда как и солдату жалованья больше, считая с хлебом, мундиром и квартирою; случается, что некоторые за босотою и в Академию иногда не ходят; и по такой бедности приходится не о науке промышлять, но о пропитании; некоторые по бедности впадают в продерзости, и исправляться им в совершенных летах трудно. Для отстранения всех этих неудобств коллегия представила штат Морского академического шляхетского корпуса: на содержание 500 учеников 56674 рубля; кроме того, представила необходимость иметь для корпуса особый дом, потому что теперь ученики живут по отдаленным квартирам, где подешевле, и в Академию к урокам поспевать не могут. Сенат решил доложить это представление императрице, и следствием было устройство Морского кадетского корпуса в нынешнем его помещении на Васильевском острове. Большой глобус, находившийся на Сухаревой башне в Москве и хранившийся прежде под Ивановскою колокольнею, передан Академии наук.

Кроме государственных учреждений для образования были еще частные. Вот, например, какое объявление читалось в "Петербургских Ведомостях" 1753 года: "Некая иностранная фамилия шляхетного роду намерена принимать к себе детей учить основательно по-французски и по-немецки и по понятию и по летам каждого за все учение о плате вдруг договориться; а девиц кроме французского языка обучать еще шитью, арифметике, экономии, танцованию, истории и географии, а притом и чтанию ведомостей".

Богатые купцы посылали сыновей своих учиться за границу, что видно из просьбы архангельского купца Никиты Крылова: построил он при Архангельском порте на Быковской верфи собственным коштом корабельный завод, а сына своего Петра послал за море для обучения иностранным языкам и лучшему в Европе обхождению и знанию, где, несколько лет будучи, голландскому языку совершенно обучился и в

строении кораблей частью весьма присмотрелся и ныне обретается при нем в производстве купечества и надзирании над строением купеческих кораблей. За все это Крылов просил его и сына его освободить от всяких служб. Сенат исполнил просьбу. Но школьного образования было мало, являлась потребность продолжать учиться из книг, потребность развлекаться легким чтением. Люди со средствами для удовлетворения этих потребностей собирали библиотеки французских авторов, которые умели тогда захватить монополию популяризации серьезных вопросов науки и общества и тем сделать язык свой необходимым для образованных людей, языком общеевропейским. Но другие охотники почитать, не имевшие материальных средств для составления библиотек, не имевшие знания французского языка, где могли добывать книги и как приобретать знания иностранных языков?

До нас дошли записки одного из тогдашних русских людей, страстного к чтению книг, - Болотова. Для приобретения необходимых для дворянина познаний его привезли из деревни в Петербург, где он поместился у дяди своего, ротмистра конной гвардии, жившего в казенных полковых светлицах. Квартира ротмистра состояла из четырех просторных комнат: "Первая составляла переднюю, или залу, отправляющую также должность столовой, вторая - спальню, и оба сии покоя были обиты обоями и порядочно убраны, а из других двух задних одна была детскою, а другая - и лакейскою, и девичьею. Жена дяди с приятельницею своею препровождали время свое наиболее в игрании в карты, ибо тогда зло сие начало входить уже в обыкновение, равно как и вся светская нынешняя жизнь уже получила свое основание и начало. Все, что хорошею жизнью ныне называется, тогда только что заводилось, равно как входил в народе и тонкий вкус во всем. Самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господство, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема".

Болотов так описывает своего французского учителя и свое ученье: "Г. Лапис был хотя и ученый человек, что можно было заключить по беспрестанному его чтению французских книг, но и тот не знал, что ему с нами делать и как учить. Он мучил нас только списыванием статей из большого французского словаря, изданного французскою Академиею и в котором находилось только о каждом французском слове изъяснение и толкование на французском же языке, следовательно, были на большую часть нам невразумительны. Сии статьи, и по большей части такие, до которых нам ни малейшей не было нужды, должны мы были списывать, а потом вытверживать наизусть без малейшей для нас пользы".

Эти полезные занятия были прерваны отъездом молодого Болотова в деревню по случаю смерти матери. Сначала он заехал в Псковскую

провинцию, в деревню к сестре своей, которая была замужем за достаточным помещиком. У зятя своего мальчик нашел книгу Квинта Курция "Жизнь Александра Македонского". "Я не мог устать, ее читаючи, - говорит он, - и прочел ее раза три на досуге". Потом мальчик поселился в своей собственной деревне. "Здесь, - говорит он, - я со скуки бы пропал, если б не помогла мне склонность моя к наукам и охота к чтанию книг. Несчастье мое только было, что книг для сего чтения взять было негде. Однако против всякого чаяния узнал я, что у дяди моего есть одна большая духовная книга - "Камень веры". Я прочитал ее в короткое время с начала до конца и получил чрез нее столь многие понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог удивлять наших деревенских попов своими рассказами и рассуждениями, почерпнутыми из сей книги". Один из этих попов, пограмотнее, достал молодому барчонку Четьи-Минеи. "Боже мой! Какая была для меня радость, когда получил я первую часть сей огромной книги. Как она была наиболее историческая, следовательно, для чтения веселее и приятнее, то я из рук ее почти не выпускал. Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько же и полезно. Оно посеяло в сердце моем первые семена любви и почтения к Богу и уважение к христианскому закону, и я, прочитав книгу сию, сделался гораздо набожнее против прежнего. А знания мои столько распространялись, что вскоре начали обо мне везде говорить с великою похвалою, деревенские же попы почитали меня уже наиученейшим человеком; но что и неудивительно, потому что они сами ничего не знали. У дяди моего нашел я также и несколько математических книг печатных и скорописных и тотчас начал списывать и все фигуры, разбирая, счерчивать и чрез самое то учиться сим наукам. Третье упражнение мое состояло в писании. Не имея ничего лучшего, списал я целого Телемака с печатного, которую книгу удалось мне тогда достать".

С таким приготовлением Болотов поступил в военную службу. По особенным обстоятельствам он должен был ехать в Петербург хлопотать о производстве в первый офицерский чин. "Едучи еще в Петербург, за непременно дело положил я, чтоб побывать в Академии и купить себе каких-нибудь книжек, которые в одной ней тогда и продавались. В особенности же хотелось мне достать "Аргениду", о которой делаемая мне еще в деревне старичком моим учителем превеликая похвала не выходила у меня из памяти. Я тотчас ее первую и купил; но как в самое то время увидел я впервые и "Жилблаза", которая книга тогда только что вышла и мне ее расхвалили, то не расстался я и с нею. Обеим сим книгам был я так рад, как нашед превеликую находку".

В полку книги, привезенные Болотовым из Петербурга, переходили из рук в руки и доставили владельцу расположение товарищей. Один сержант познакомил его с нового рода литературным произведением. "Имел он у себя список с трагедии "Хорева". Сию трагедию знал он всю наизусть и умел так хорошо ее декламировать, как лучший актер. Трагедия сия навела на меня множество хлопот, ибо как она мне полюбилась до бесконечности,

то захотелось мне ее таким же образом выучить наизусть для декламирования".

Кто же были эти люди, которые доставляли Болотову и ему подобным такое наслаждение?

В 1749 году вышел первый том книги, которая в старину составляла у нас необходимую принадлежность всякой сколько-нибудь значительной библиотеки: "Древняя История, сочиненная чрез г. Роллена, бывшего ректора Парижского университета, а ныне с французского переведенная чрез Василья Тредиаковского, профессора элоквенции". Книга печаталась в количестве 2400 экземпляров, потому что "оная книга надлежит до исторических книг, которого роду книги здесь при Академии весьма скоро продаются". В том же году трудолюбивый профессор элоквенции представил в академическую канцелярию перевод "Аргениды". Под этим именем известный сатирик шотландец Джон Барклай издал на латинском языке в 1621 году роман, в котором аллегорически изображен французский двор того времени; книга не утратила своей привлекательности спустя с лишком сто лет после своего издания, и перевод Тредиаковского не был запоздавшим: немецкий перевод Гакена явился в 1764 году. Трагедия "Хорев" была первым драматическим произведением "установителя русского театра" Сумарокова. Мы привели известие Болотова, что "нежная любовь, подкрепляемая в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое только над молодыми людьми свое господство, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и буде где какая проявится, то молодыми боярынями и девушками с языка была не спускаема". Такими-то песнями приобрел себе первую известность воспитанник Кадетского корпуса Александр Петрович Сумароков. Песни эти с восторгом были приняты при дворе и пелись самыми знатными дамами. Песни эти не дошли до нас, но дошли оды, которые обещали в кадете усердного подражателя Тредиаковскому; вот для примера четыре стиха из кадетской оды Сумарокова:

Как	теперь	начать	Анну	поздравляти?	
Не	могу	когда	слов	таких	сыскати,
Из	которых	ей	похвалу	сплетати,	
Иль неволей мне будет промолчати.					

В 1740 году Сумароков вышел из корпуса в военную службу, а в 1747 году явилось в печати первое его драматическое произведение "Хорев", производившее на русских людей впечатление, описанное Болотовым. Между действующими лицами трагедии находим имена, взятые из преданий, занесенных в древнейшую нашу летопись, - имена киевского князя Кия и брата его Хорева, но этими именами все и ограничивается, воссоздания русской старины мы здесь не найдем; это была трагедия,

скроенная по французским образцам, но "Хорева" заучивали наизусть и декламировали точно так же, как выучивали и не спускали с языка песни Сумарокова, потому что в монологах и диалогах Хорева и его возлюбленной Оснельды находили выражение того же нежного чувства, как и в песнях; но в трагедии впечатление было сильнее, потому что здесь изображалась борьба нежного чувства с честью, долгом. Оснельда влюбилась в Хорева, врага своего дома; она погибла от гнусного кова, и Хорев закаляется, не будучи в состоянии перенести ее потери. Подражатель Вольтера, Сумароков заставлял действующих лиц своих пьес высказывать мнения, которые начинали тогда распространяться в обществе, и этому распространению театр особенно содействовал. Князь Кий, в котором боярин Сталверх возбуждает подозрение против Хорева, рассуждает так:

"Хочу равно и ложь, и истину внимать
И слепо никого не буду осуждать,
Мятусь, и лютого злодея видя в горе,
Князь - кормщик корабля, власть княжеская - море,
Где ветры, камни, мель препятствуют судам,
Желающим пристать к покойным берегам.
Но часто кажутся и облаки горами,
Летая вдалеке по небу над водами,
Которых кормщику не должно обегать,
Но горы ль то иль нет искусством разбирать.
Хоть все б вещали мне: там горы, мели тамо,
Когда не вижу сам, плыву без страха прямо".

Хорев так вооружается против наступательной войны:

"Колико в снесь зверям отцов, супругов, чад
Повержено мечом? Колико душ взял ад?
Когда на жертву нас злой смерти долг приносит,
Помрем, но жертвы сей теперь она не просит.
Когда народ спасти не можно без нее,
Мы в пропасть снидем все, и первый сниду я,
Но ныне страха нет народу и короне,
А меч дается нам лишь только к обороне.

.....
Щедрота похвалы в победах умножает,
И человечество в душах изображает.
Или подобиться во бранных действиях нам

В пустынях ужасно воюющим зверям,
Которы никакой пощады не имеют?
Не их примеры нам во бранях быть довлеют,
Довольно в варварстве мы кровь свою пием,
Когда по должности друг друга мы бием
И защищение с отмщением мешаем.
Под видом мужества мы зверство возвышаем.
Какое имя ты, лесь груба, злу дала?
Убийство и грабеж геройством назвала!"

В другом месте тот же Хорев говорит:

"Те люди, коими законы сотворенны,
Закону своему и сами покоренны".

"Хорев" был напечатан, его учили наизусть и декламировали, но на сцене его не видали: в России еще не было русского театра. При дворе была опера, где "пели девки итальянки и кастрат", был немецкий театр. В 1749 году немецкой комедиантской банды содержатель Пантолон Петр Гильфердинг просил, что бывший той банды директор Сигмунд умер и банда осталась без директора, а содержит ее он, Пантолон Гильфердинг, выплачивая вдове умершего Сигмунда некоторую часть собираемых доходов, а она уже вышла теперь замуж за офицера, и потому ему, Гильфердингу, дать привилегию, а жену Сигмундову от того отрешить и платы ей более не производить. Сенат приказал: Гильфердингу в представлении комедий и опер в Москве, Петербурге, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге дать привилегию на таком же основании, как дана была Сигмунду.

Но немецкий театр с его комедиями и операми не мог удовлетворять. Нравились трагедии и комедии французские или по образцу их написанные русские, нравился "Хорев". 29 января 1750 года канцелярист графа Алексея Григор. Разумовского в канцелярии Кадетского корпуса объявил, что ее императ. величество указала приготовить кадетам, о которых генерал-адъютант (т. е. главный адъютант Разумовского) Сумароков реестр сообщил, представить на театре две русские трагедии, и чтоб они для затвержения речей были от классов и от всяких в корпусе должностей до Великого поста уволены.

Но кадетские представления были редки и не всем доступны: большинство петербургской публики должно было услаждаться курьезными вещами Франца Сарге, который по высочайшему повелению с своею компаниею и ученою лошадью приехал из Риги и давал представления под дирекциею того же Пантолона Гильфердинга.

Ни в Петербурге, ни в Москве русского театра не было; но был он в Ярославле, где в здании, вмещавшем до 1000 человек зрителей, играли разных чинов люди под дирекциею купеческого сына Федора Григорьевича Волкова, человека, выдававшегося из ряда людей обыкновенных, по отзывам современников, которым можно верить. В Петербурге узнали об ярославском театре, и 12 января 1752 года провинциальная Ярославская канцелярия получила указ Сената: во исполнение высочайшего именного указа велено ярославских купцов Федора Григорьева Волкова (он же и Полушкин) с братьями Гаврилою и Григорьем, которые в Ярославле содержат театр и играют комедии, и кто им еще для того как из купечества, так из приказных и из прочих чинов потребны будут и принадлежащее к игранию комедий их платье отправить в С. - Петербург с присланным с тем указом сенатской роты подпоручиком Дашковым и для скорейшего всего того привозу как под них, так и под платье ямские подводы и на них прогонные деньги, сколько надлежит, дать. Волков (Полушкин) был призван в канцелярию и показал, что сверх братьев его Гаврилы и Григорья потребны к комедии Ярославской провинциальной канцелярии канцеляристы Иван Иконников, Яков Попов, пищик Семен Куклин, присланные из консистории для определения в канцелярии из церковников Иван Дмитревский, Алексей Попов, ярославец посадский человек Семен Скачков да живущие в Ярославле из малороссиян Демьян Галик, Яков Шумский, а под своз их и платья надлежит ямских 19 подвод, шестеры сани болковни, 6 рогож, веревок 50 сажен.

Некоторые из ярославских актеров найдены годными и для столичного театра; в июле того же года генерал-прокурор получил от обер-штальмейстера Петра Сумарокова письмо такого содержания: "Ее императорское величество соизволила указать взятых из Ярославля актеров заводчика Федора Волкова, пищиков Ивана Дмитревского, Алексея Попова оставить здесь, а канцеляристов Ивана Иконникова, Якова Попова, заводчиков Гаврилу да Григорья Волковых, пищика Семена Куклина, малоросийцев Демьяна Галика, Якова Шумского, ежели похотят, отправить обратно в Ярославль". При этом Иконников и Попов пожалованы в коллежские регистраторы. Есть известия, что оставленных в Петербурге актеров приготавливали, давали им дополнительное образование; и действительно, российский театр в Петербурге был учрежден, как увидим, только в 1756 году.

А между тем число драматических произведений увеличивалось; Сумароков был неутомим: после "Хорева" он написал еще в продолжение немногих лет пять трагедий и две комедии. Трагедии все написаны по одному образцу, во всех них действующие лица, добродетельные и порочные, похожи друг на друга, откуда бы ни были взяты их имена - из древнерусской или персидской истории, и так как Сумароков не обладал сильным талантом в изображении природы человеческой и не мог успешно бороться с языком, не вышедшим еще из хаотического состояния, то и не

предохранил своих произведений от забвения. Но мы не можем не привести некоторых мест из первых трагедий Сумарокова, ибо слова, произносимые со сцены в юном обществе, слова, которые жадно хватались и заучивались, не могли не производить особого впечатления, более сильного, чем то, которое производят сухие нравоучения, например слова Гамлета:

Я бедствием своим хочу себя явить,
Что над любовью могу я властен быть.
Люблю Офелию, но сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно.

Или слова Гостомысла в трагедии "Синав и Трувор":

Где должность говорит или любовь к народу,
Там нет любовника, там нет отца, ни роду.

Или слова Семиры:

От знатной крови я на свет изведена:
Должна ль я тако быть страстями побеждена,
Чтоб делали они премены те в Семире,
Какие свойственны другим девицам в мире?
Где жизни хвальные примеры находить,
Коль в княжеских сердцах пороки будут жить?
Иль преимущество имеем пред другими
Одними титлами лишь только мы своими?

Мы должны остановиться на комедиях Сумарокова, потому что какой бы чуждый образец ни имел перед глазами автор, все же он, представляя будничную жизнь, не может отрешиться от явлений окружающего общества, тем более что в комедии указания на ближайшие неправильные явления, от которых терпит общество, дают особенную силу, значение сочинению, чем автор пренебречь не может. Разумеется, в литературных произведениях сатирического свойства, комедиях и собственно сатирах всего резче выставляются те явления, которые лично затронули самого автора, и в первых комедиях Сумарокова мы видим педанта, карикатуру ученого, под которою современники легко могли узнать известного профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Можно наполнить томы описанием ссор и перебранок между русскими учеными и литераторами, начиная с Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова. Явление это всегда способно было возбуждать глумление толпы над людьми, которые считали себя наставниками народа, а между тем подавали очень дурной пример наставляемым. Но надобно было войти в их

положение. Обыкновенный человек в продолжение всего своего общественного поприща мог получать замечания от начальствующих лиц, и то редко публично; пересудов же и насмешек от равных себе он вблизи не слыхал, когда же приходилось слышать, то он равнодушным не оставался; но эти перебранки обыкновенно не имеют большой гласности. Но вот ученый или литератор передает свое произведение публике, которая начинает поучаться из книги, наслаждаться поэтическим произведением, а тут раздается голос публично, во всеуслышание, что книга ученого наполнена ошибками, что трагедия или ода наполнена неправильностями относительно языка, здравого смысла, господствующей теории. Публика смущена, ждет ответа от автора, хочет присутствовать и судить в споре; раздражение человека, которого из ученого низводят в невежды, из художника - в человека бездарного, - раздражение автора доходит до высшей степени, которую редко кто испытывает хотя раз в жизни, а несчастный автор должен испытывать каждый раз при издании в свет своего произведения. Понятно, что при защите, когда надобно поддержать свой авторитет против подкапывающихся под-него соперников, первое средство, за которое хватается в раздражении защищающийся, - это подкапывание под авторитет нападающего: "Ты обличаешь меня, а сам-то ты каков? И, будучи исполнен таких недостатков, какое право имеешь обличать других?" Тут насмешка, более всего доступная и приятная толпе, играет главную роль, но поэтому-то самому насмешка и более всего раздражает; несчастному автору кажется, что всякий встречный улыбается при виде его.

Понятно, что такого раздражения между авторами не может быть в странах, обладающих крепким и широко распространенным образованием: здесь автор, сознающий несправедливость возражений, спокоен, зная, что в обществе много людей, которые не станут на сторону его противника потому только, что тот написал несколько резких и насмешливых замечаний, зная, что в обществе образованном нельзя поколебать авторитета одними криками, насмешками. Самая резкость нападок из противного лагеря служит доказательством важного значения ученого или литературного произведения, потому успокаивает автора вместо раздражения, и если автор чувствует необходимость полемики для уяснения вопроса, то ему не нужно спешить, он сделает это при полном спокойствии и потому с полным достоинством, без личностей и брани.

Но не так бывает в обществах юных, где образование, недавно начавшееся, не пустило еще корней, а таким обществом именно было русское в описываемое время. Здесь автору не было никакого ручательства, что публика, и без него справедливо рассудит его дело, общество было в таком состоянии, что для решения дела требовало средневекового доказательства, судебного поединка, присуждало поле, и автор должен был биться публично своим противником. Мы уже заметили по поводу Кантемира, вооружившегося в своих сатирах против самохвала, как состояние тогдашнего общества развивало самохвальство. Разумеется, этот порок

может корениться в личности человека, но развивается преимущественно в таком обществе, которое не может дать ручательства, что на труд будет обращено внимание и он будет оценен по достоинству. В таком обществе автор считает необходимым сам объявлять о своем труде, сам его оценивать. Если и теперь встречаются люди так называемые образованные, которые потому только знают об известном авторе и его сочинениях, что автор с ними знаком и дарит свои произведения, о других же не знают; если и теперь для доставления успеха книге прибегают иногда к таким мерам, которые показывают недоверие к публике, к ее вниманию и способности оценить труд по достоинству; если и теперь иные авторы считают нужным напоминать о себе, очень любят поговорить о себе, - то мы должны быть снисходительны к авторам XVIII века, считавшим необходимостью говорить о своих трудах, о своих заслугах. Сумароков был самохвал, и Ломоносов был тоже самохвал. И самохвальство в литературе не могло производить неприятного впечатления, когда каждый считал для себя позволительным просить правительство о награде, причем высчитывал свои труды и важное их значение, не догадываясь, как оскорбляет правительство, предполагая в нем неспособность обратить внимание и оценить заслуги подданных. Но дело в том, что и само правительство не оскорблялось таким предположением и не относилось сурово к самохвалу. Точно так же не оскорблялось и общество авторским самохвальством.

Столкновение Сумарокова с тогдашними учеными авторитетами было неминуемо, во-первых, потому, что эти ученые были также стихотворцами и отсюда рождалось соперничество; во-вторых, по отсутствию тогда разделения занятий ученому учреждению Академии наук принадлежала цензура сочинений, бывшая прежде у Сената. Нет сомнения, что профессор элоквенции Трелиаковский не преминул сделать замечаний и на первую трагедию Сумарокова - "Хорев", что раздражило ее автора, а раздражение это не могло сдерживаться авторитетом Василия Кирилловича, которого собственные стихотворения вызывали столько замечаний и насмешек. Как видно, Трелиаковский принадлежал к людям, осуждавшим в "Хореве" то, что трагедия оканчивалась гибелью добродетельных людей, главных героев, что, по мнению критиков, было противно нравственности, и мнение это было так сильно, что Сумароков должен был иначе окончить вторую свою трагедию - "Гамлет". Когда в 1748 году эта трагедия была отдана официально на суд Трелиаковского и Ломоносова, то первый нашел ее "довольно изрядною", а именно потому, что автор не повторил погрешности первой своей трагедии, в которой "порок преодолел, а добродетель погибла". Трелиаковский не утерпел и указал на неровность стиля: "Инде весьма по-славенски сверх театра, а инде очень по-площадному ниже трагедии"; заметил и грамматические неисправности, наконец, позволил себе переделать некоторые стихи. Ломоносов ограничился чисто цензурною заметкою: "В оной трагедии нет ничего, что бы предосудительно кому было и могло бы напечатанию оной препятствовать".

Сумароков не мог перенести замечаний, что в его произведении повсюду видна неровность стиля и находятся многие грамматические неисправности. Особенно рассердился он, когда ему были возвращены из Академии для исправления две его стихотворные эпистолы, в которых Тредиаковский нашел "великое язвительство"; Сумароков еще подбавил язвительства против Тредиаковского, который объявил, что "таких злостных сатир апробовать не может"; но другой цензор, Ломоносов, одобрил эпистолы, в которых находились такие стихи:

"И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,
Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси -
Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен,
А ты, Штивелиус, лишь только врать способен".

Штивелиус (Тредиаковский) явился в 1750 году в комедии Сумарокова под именем Тресотиниуса, педаята. Комедия начинается тем, что Клариса, на которой сватается Тресотиниус, говорит своему отцу: "Нет, батюшка, воля ваша, лучше мне век быть в девках, нежели за Тресотиниусом. С чего вы вздумали, что он учен? Никто этого об нем не говорит, кроме его самого, и хотя он и клянется, что он человек ученый, однако в этом никто ему не верит". *Тресотиниус* является к Кларисе с таким приветствием: "Прекрасная красота, приятная приятность, по премногу кланяюсь вам". *Клариса*: "И я вам по премногу откланиваюсь, преученое учение". *Тресотиниус*: "Эта бумажка яснее вам скажет, какую язву в сердце моем приятство ваше, т. е. красота ваша, мне учинила, т. е. сделала". На бумажке была написана песня, сочиненная Тресотиниусом:

Красоту на вашу смотря, распалился я ей, ей!
Изволь меня избавить ты от страсти тем моей!
Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег,
Мучишь ты меня, Климена, и стрелою сшибла с ног и т. д.

Затем приходит другой педант, Бобембиус, и заводит с Тресотиниусом горячий спор о литере *твердо*: "Которое твердо правильнее, о трех ли ногах или об одной ноге?" *Тресотиниус*: "Я содержу, что твердо об одной ноге правильнее, ибо у греков, от которых мы литеры получили, оно об одной ноге, а треножное твердо есть некакой урод". *Бобембиус*: "Мое твердо о трех ногах и для того стоит твердо, ерго - оно твердо; а твое твердо нетвердое, ерго - оно не твердо. Твое твердо слабое, ненадежное, а потому презрительное, гнусное, позорное, скаредное".

В другой комедии Сумарокова, "Чудовищи", является педант Критициондиус, в котором также легко было узнать Тредиаковского. Сумарокову хотелось осмеять своего придирчивого критика, и потому Критициондиус говорит о "Хореве": "Немного получше можно бы было

написать. Кию подали стул, бог знает на что, будто как бы он в таком был состоянии, что уж и стоять не мог. Отчего? Я не знаю... На песнь "Прости, мой свет" я сочинил критику в двенадцати томах in folio. На трагедию "Хорева" сложил я шесть дюжин эпиграмм, а некоторые из них и на греческий язык перевел; против тех господ, которые русские представляли трагедии, написал я на сирском языке 99 сатир". Когда его спрашивают, что тебе в том прибыли, он отвечает: "Я хочу вывести из заблуждения любезное мое отечество, которое то похваляет, что похуления достойно, и отнять честь у автора, которую он получает несправедливо; а паче всего для того я на него вооружаюсь, что он думает обо мне, будто я все, что ни есть, пишу нескладно. Да то мне всего злее, что он в том на весь народ ссылается, а весь народ за нескладного писца меня и почитает; однако я против всего русского народу сделаю Ювеналовым вкусом сатиру... Этот же автор сделал комедию на ученых людей. Хорошо ли это, что на ученых людей делать комедии?"

Сумароков делал комедии на ученых людей, потому что сам не принадлежал к ним; ученые люди, опираясь на свою ученость, указывали на недостатки его произведений, и Сумароков боялся, что эти указания, как указания людей ученых, должны иметь вес и вредить ему, и потому ему нужно было осмеять, опозорить ученых. Ему было легко сладить с Третьяковским, стихотворные произведения которого просились на насмешку; но когда известность его стала расти все более и более, когда у него явились поклонники, которые стали величать его "открытелем таинства любовной лиры, российским Расином, защитником истины, гонителем, бичом пороков", то дело легко дошло и до столкновения с Ломоносовым, который для многих оставался первым российским не только ученым, но и стихотворцем. Соперничество повело к явной вражде, к перебранке в стихах и прозе.

Кроме педантов в комедиях Сумарокова являются и другие люди, которых он выставляет преимущественно на позор: это петиметры и приказные. Мы уже говорили, что в это время господствовали в Европе французский язык и французская литература. Русские люди, живя все более и более общо европейскою жизнью, разумеется, должны были усваивать себе общественный язык и знакомиться с богатою литературою, так удовлетворявшею пылкости и вкусу тогдашних образованных, людей. Разумеется, не Ив. Ив. Шувалов "заставил нас говорить нечестивым французским языком", как выразился Растопчин, очень плохой знаток истории: еще прежде, чем Ив. Ив. Шувалов получил влияние, русские люди со средствами заводили французские библиотеки и выписывали французских гувернеров и гувернанток для детей своих. Учиться говорить по-французски заставляла нужда, потребность образования; кто мог, учился и по-немецки, но немцы подавали пример подражания французам, говорили и писали по-французски, пренебрегая родным языком. Люди с потребностью образования, высших наслаждений жадно читали и учили наизусть творения российского Расина - Сумарокова; странно было бы

требовать от людей, могших читать по-французски, иметь французские книги, чтоб они не читали Расина в подлиннике и довольствовались Сумароковым. Ив. Ив. Шувалов приобрел себе почетное имя в истории русского просвещения не тем, что любил французский язык и французскую литературу, но тем, что старался поднять русскую литературу, увеличил средства образования для русских людей; Шувалов пишет конспект риторики Ломоносова, под руководством Ломоносова пишет русские стихи, и в этих плохих русских стихах защита для него от упреков во французомании.

Но во все времена во всяком живом обществе есть люди слабые, люди мелкой природы, которые подчиняются известному господствующему влиянию до рабства; по внутренней духовной слабости эти люди останавливаются на одном внешнем, доводят это подражание внешнему до обезьянства, ибо относятся к делу с бессознательностью животного, возбуждают смех и отвращение и всего больше содействуют упадку известного направления, реакции против него; по слабости природы своей эти люди увлекаются до такой степени, что, кроме предмета своего обожания, исключают все другое, каким бы священным именем это другое ни называлось, у них всегда на языке бранная выходка против него. Французское влияние, господствовавшее во всей Европе в описываемое время, имело у нас в России таких поклонников, и в России больше и долее, чем где-либо по молодости русского общества, следовательно, по большей способности его членов к увлечению, и к увлечению внешностью, а французская внешность очень способна своим блеском, изяществом увлекать слабых. Сатира не могла не остановиться на этих людях (*петиметрах*, как их тогда называли), потому что они представляли так много смешного; впрочем, они возбуждали и не один смех, потому что, рабствуя чужому, они совершенно отрекались от своего, делали против него выходки, оскорблявшие патриотическое чувство.

В комедии "Чудовищи" петиметр является под именем Дюлижа. Дюлиж презирает все нефранцузское. Когда хозяин дома, не имеющий понятия об иностранных языках, думает, что фразы, которые Дюлиж вплетает в свою речь, немецкие, то петиметр страшно оскорбляется: "Что? вы думаете, что я говорю по-немецки? *Quelle pense! quelle impertinence!* Чтоб я этим языком говорить стал!" Услыхав об Уложении, он спрашивает: "Уложенье, что это за зверь?.. Я не только не хочу знать русские права, я бы русского и языка знать не хотел. Скаредный язык!.. Для чего я родился русским? О натура! Не стыдно ль тебе, что ты, произведя меня прямым человеком, произвела меня от русского отца!" О своих достоинствах Дюлиж говорит так: "Научиться этому, как одеться, как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать, стоит целого веку, а я этому формально учился, чтоб мог я тем отечеству своему делать услуги". О своем сопернике, который выставлен автором в противоположность ему, Дюлиж отзывается: "Это будто человек! Кошелек носит такой большой, как заслон; на голове пуклей с двадцать, тростку носит коротенькую, платье делает ему немчин;

муфты у него и отроду не бывало, манжеты носит короткие, да он же еще и по-немецки умеет". Арлекин, который еще продолжает являться в комедии, произносит приговор петиметру: "Этакое безобразие, стыд роду человеческому! Конечно, это обезьяна, да не здешняя".

Сатира, комедия не могли не вооружиться против явления, завещанного древнею Россиею и против которого новая истощалась в бесплодных протестах против неправды, недобросовестности суда, против людей, которые для спокойствия, чести, имущества граждан были так же вредны, как и разбойники. "Статное ли это дело, чтоб я дочь свою выдала за ябедника", - говорит жена в комедии "Чудовищи". Муж отвечает ей: "Мы люди разоренные, да ежели этакое человека у нас в родне не будет, так мы и совсем пропадем". Муж с женою поспорили, и жена дала сожителю своему пощечину. Вследствие этого является на сцену суд. Мы видели, как граф Петр Шувалов жаловался на множество комиссий, которые тянулись бесконечно. Сумароков подсмеивается над этими комиссиями: дама, давшая мужу пощечину, называет суд "пощечинною комиссиею". Состав суда характеризуется в разговоре между судьями. "Я не знаю, - говорит один судья другому, - сильны ли вы в делах приказных, а я все служил в солдатстве и в приказ посажен недавно; так я в делах-то не очень еще силен, разве вы в них знающы?" Товарищ отвечает: "Я век свой изжил в приказах; только без этакое человека, каков наш протоколист, и я ничего не сделаю, это не судейская должность, чтоб знать права. Наше дело оговаривать и вершить дела; знать права - то дело секретарское". Судья, весь век изживший в приказах, показывает, однако, свою опытность, находит разноречие в показаниях истца, который один раз сказал, что жена дала ему пощечину, в другой раз сказал, что оплеуху. Защитник истца, ябедник Хабзей, говорит судье: "В этом разнствия не имеется: понеже оплеуха и пощечина так, как поместье и вотчина, за едино приемлются". В комедии "Тресотиниус" подьячий говорит офицеру Брамарбасу: "Я слышал, что у вашего благородия из вотчин приехали". *Брамарбас*: "А тебе что до того дело?" *Подьячий*: "Я слышал, что и запасу к вашей милости понавезли. Не имеется ли и для нашего брата; а у меня жена родила". *Брамарбас*: "Когда вы рождаются, так радоваться нечему". *Подьячий*: "Я это заявлю и буду на вас бить челом: так ты мне заплатишь бесчестье". *Брамарбас*: "Сержант, арестуй!" *Подьячий*: "Как, арестовать? Приказного служителя? Нас и в приказах не арестуют, и весь нам штраф только в том, что нас на цепь сажают. А ты это в противность правам делаешь". Брамарбас указывает на свою шпагу: "Вот право офицерское!" Подьячий, указав на свое перо: "Это хоть и не так остро, однако иногда колет сильнее и шпаги".

Литературные занятия Сумароков считал своею службою. Так, он писал императрице: "Вашего императ. величества человеколюбие и милосердие отъемлют мою робость пасть к стопам вашего императ. величества и всенижайше просить о всемилостивейшем помиловании. Я девятый месяц по чину моему не получаю заслуженного жалованья от Штатс-конторы, и

как я, так и жена моя почти все уже свои вещи заложили, не имея, кроме жалованья, никакого дохода, ибо я деревень не имею и должен жить только тем, что я своим чином и трудами имею, трудясь, сколько сил моих есть, по стихотворству и театру. Я в таких упражнениях не имею ни минуты подумать о своих домашних делах. Дети мои должны пребывать в невежестве от недостатков моих, а я терять время напрасно, которое мне потребно для услуг вашему императ. величеству в рассуждении трудов моих к увеселению двора, к чему я все силы прилагаю и всю жизнь мою с младенчества на стихотворство и на театральные сочинения положился, хотя между тем и другие не в должности, и многие лета был при делах лейб-компаний, которые правлены мною беспорочно; свидетель тому его сиятельство граф Алексей Григорьевич (Разумовский), который вашему императ. величеству о моей прилежности и беспорочности всеконечно представить может. Труды мои, всемилостивейшая государыня, сколько мне известно, по стихотворству и драмам не отставали от моего в исполнении желания, и сочинениями своими я российскому языку никакого бесславия не принесу, и, покамест не совсем утухнут мысли мои, я в оных к увеселению вашего величества и впредь упражняться всем сердцем готов".

Относительно других искусств встречаем известие о трудах ветерана русских живописцев Ивана Вишнякова, хотя и не можем обозначить в точности эти труды. В 1752 году Вишняков по представлению канцелярии от строений, и за добропорядочное порученных ему дел исправление, и за излишне понесенные его пред прочими мастерами труды, и за долговременную, с 721 года, службу произведен в надворные советники с жалованьем по 700 рублей. Архитекторами в Петербурге видим братьев Тразиных, в Москве - Евлашева и князя Дмитрия Ухтомского, в Киеве - Мичурина. В 1752 году кн. Ухтомский представил Сенату, что определено к нему для обучения *архитектуры цивилис* учеников число довольно, только подлежащих для совершенства к их обучению казенных архитектурных книг не имеется, в чем состоит крайняя нужда, а именно: Витрувия - "О рассуждении ординов с фигурами", Серлия - "О препорции ординов", Палладия - "О рассуждении ординов", Бароция на русском языке в пол-листа шесть книг, Полусдекера, Девильера - "О рассуждении ординов и о укреплении фундаментов", Поции - "О прошпективе". Штормова - "Лексикон науки архитектурной", садовых с фигурами две книги, книга древних греческих статуй, машинных и механических, на русском языке. По запросу Сената Академия наук показала, что из вышеобъявленных книг в продаже находятся только Полусдекера ценою три тома 16 рублей 50 копеек да "Механика" на русском языке - 20 копеек. Сенат приказал: которые есть - купить, а остальные, когда при Академии или у вольных в продаже будут, купить и отдать Ухтомскому.

Сохраним память о простом русском человеке, который в описываемое время изобрел "самобеглую коляску". То был крестьянин подгородной Иранской слободы Леонтий Шамшуренков; коляска двигалась *под*

закрытием с помощью двух человек и стоила 90 рублей; мастеру выдано было за нее из казны 50 рублей награждения. Потом Шамшуренков объявил Сенату, что сделал он коляску, а теперь может сделать сани, которые будут ездить зимою без лошадей; может сделать также часы, которые будут ходить у коляски на задней оси и будут показывать на кругу стрелю до 1000 верст, на всякой версте будет бить колокольчик, и прежнюю коляску может сделать уборнее и на ходу будет скорее. Сенат велел спросить, сколько все это будет стоить. Последствия неизвестны.